## Лазоревая степь

Автор: *Шолохов М.А.*

Над Доном, на облысевшем от солнечного жара бугре, под кустом дикого

терна лежим мы: дед Захар и я. Рядом с чешуйчатой грядкой туч бродит коричневый коршун. Листья терна, пестро окрашенные птичьим пометом, не дают нам прохлады. От зноя в ушах горячий звон; когда смотришь вниз на курчавую рябь Дона или под ноги на сморщенные арбузные корки - в рот набегает тягучая слюна, и слюну эту лень сплевывать.

В лощине, возле высыхающей музги, овцы жмутся в тесные кучи. Устало откинув зады, виляют захлюстанными курдюками, надрывно чихают от пыли. У плотины здоровенный ягночище, упираясь задними ногами, сосет грязно-желтую овцу. Изредка поддает головой в материно вымя; овца стонет, горбится, припуская молоко, и, мне кажется, выражение глаз у нее страдальческое.

Дед Захар сидит ко мне боком. Скинув вязаную шерстяную рубаху, он подслеповато жмурится и ощупью что-то ищет в складках и швах. Деду без года семьдесят. Голая спина замысловато опутана морщинами, лопатки острыми углами выпирают под кожей, но глаза - голубые и юные, взгляд из-под серых бровей - проворен и колюч.

Пойманную вошь он с трудом держит в дрожащих зачерствелых пальцах, держит ее бережно и нежно, потом кладет на землю, подальше от себя, мелким крестиком чертит воздух и глухо бурчит:

- Уползай, тварь! Жить небось хочешь? а? То-то оно... Ишь ты, насосалась... помещица...

Кряхтя, напяливает дед рубаху и, запрокидывая голову, тянет из деревянной баклаги степлившуюся воду. Кадык при каждом глотке ползет вверх, от подбородка К горлу свисают две обмякшие складки, по бороде текут капельки, сквозь опущенные шафранные веки красновато просвечивает солнце.

Затыкая баклагу, он искоса глядит на меня и, перехватив мой взгляд, сухо жует губами, смотрит в степь. За лощиной дымкой теплится марево, ветер над обугленной землей пряно пахнет чабрецовым медом. Помолчав, дед отодвигает от себя пастушечью чакушу[1], обкуренным пальцем указывает мимо меня.

- Видишь, за энтим логом макушки тополев? Имение панов Томилиных - Тополевка. Там же около и мужичий поселок Тополевка, раньше крепостные были. Отец мой кучеровал у пана до смерти. Мне-то, огольцу, он рассказывал, как пан Евграф Томилин выменял его за ручного журавля у соседа-помещика. Посля отцовой смерти я заступил на его место кучером. Самому пану а это время было под шестьдесят. Тушистый был мужчина, многокровный. В молодости при царе в гвардии служил, а потом кончил службу и уехал доживать на Дон. Землю ихнюю на Дону казаки отобрали, а пану казна отрезала в Саратовской губернии три тыщи десятин. Сдавал он их в аренду саратовским мужикам, сам проживал в Тополевке.

Диковинный был человек. Ходил завсегда в бешмете тонкого сукна, при кинжале. Поедет, бывало, в гости, выберемся из Тополевки, приказывает:

- Гони, хамлюга!

Я лошадям кнута. Скачем - ветер не поспевает слезы сушить. Попадется середь дороги ярок,- водой вешней их нарежет через дорогу пропасть,передних колес не слышно, а задние только - гах!.. Скрадем полверсты, пан ревет: "Поворачивай!" Оберну назад и во весь опор к тому ярку... Раз до трех в проклятущем побываем, покель изломаем лесорину либо колеса с коляски живьем сымем. Тогда крякнет мой пан, вставет и идет пешки, а я следом коней в поводу веду. Была у него ишо такая забава: выедем из имения - он сядет со мной на козлы, вырвет кнут из рук. "Шевели коренного!.." Я коренника раскачиваю вовсю, дуга не шелохнется, а он кнутом пристяжную режет. Выезд был тройкой, в пристяжных ходили дончаки чистых кровей, как змеи, голову набок, землю грызут.

И вот он кнутом полосует какую-нибудь одну, сердяга пеной обливается... Потом кинжал вынет, нагнется и постромки - жик, как волос бритвой срежет. Лошадь-то саженя два через голову летит, грохнется обэемь, кровь из ноздрей потоком - и готова!.. Таким способом и другую... Коренник до той поры прет, покеда не запалится, а пану хотя бы что, ажник повеселеет малость, кровина так и заиграет на щеках.

Сроду до места прибытия не доезжал: либо - коляску обломает, либо лошадей погубит, а посля пешки прет... Веселый был пан... Дело прошлое, пущай нас бог судит... Присватался он к моей бабе, она в горничных состояла, Прибежит, бывало, в людскую - рубаха в лохмотьях - ревет белугой. Гляну, а у ней все груди искусаны, кожа лентами висит... Раз как-то посылает меня пан в ночь за фершалом. Знаю, что надобности нету, смекнул, в чем дело, взял в степи - ночи дождался и вернулся. В имение через гумно въехал, бросил лошадей в саду, взял кнут и иду в людскую, в свою каморку. Дверью рыпнул, серников нарочно не зажигаю, а слышу, что на кровати возня... Тольки это приподнялся мой пан, я его кнутом, а кнут у меня был с свинчаткой иа конце... Слышу, гребется к окну, я в потемках ишо раз его потянул через лоб. Высигнул он в окво, я маленько похлестал бабу и лег спать. Ден через пять поехали в станицу; стал я пристегивать полсть на коляске, а пан кнут взял и разглядывает конец. Вертел, вертел в руках, свинчатку нащупал и спрашивает:

- Ты, собачья кровь, на что свинец зашил в кнут?

- Вы сами изволили приказать,- отвечаю ему.

Промолчал и всю дорогу до первого ярка сквозь эубы посвистывает, а я обернусь этак мельком-вижу: волосы на лоб спущенные и фуражка глубоко? надвинута...

Года через два паралик его задушил. Привезли в Усть-Медведицу, докторов поназвали, а он лежит на полу, почернел весь. Достает катериновки из кармана пачками, кидает на пол, хрипит в одну душу: "Лечите, гады! Все отдам!.."

Царство небесное, помер с деньгами. Наследником сын-офицер остался. Махоньким был, так щенят, бывалоча, живьем свежует - обдерет и пустит. В папашу выродился. А подрос - перестал дурить. Высокий был, тонкий, под глазами сроду черные круги, как у бабы... Носил на носу очки золотые, на снурке очки-то. В германскую войну был начальником над пленными в Сибири, а посля переворота объявился в наших краях. К тому времени у меня от покойного сына уж внуки были в годах; старшего, Семена, женил, а Аникушка ходил ишо в парубках. При них я проживал, концы жизни в узелочек завязывал... Весной обратно получился переворот. Выгнали наши мужики молодого пана из имения, в тот же день на обчестве Семка мужиков уговаривал панские угодья разделить и имущество забрать по домам. Так и сделали: добро растянули, а землю порезали на делянки и зачали пахать. Через неделю, а может, и меньше, дошел слух, что идет пан с казаками наш поселок вырезать. Сходом послали мы две подводы на станцию за оружием. На страстной неделе привезли от Красной гвардии оружье, порыли за Тополевкой окопы. Протянули их ажник до панского пруда.

Видишь, вон там, где чабрец растет круговинами, за энтой балкой и легли тополевцы в окопы. Были там и мои - Семка с Аникеем. Бабы с утра харчи им отнесли, а солнце в дуб - на бугре появилась конница. Рассыпались лавой, засинели шашки. С гумна видал я, как передний на белом коне махнул палашом, и конные горохом посыпались с бугра. По проходке угадал я белого панского рысака, а по коню узнал и седока... Два раза наши сбивали их, а на третий обошли казаки сзаду, хитростью взяли, и пошла тут сеча... Заря истухла, кончился бой. Вышел я из хаты на улицу, вижу: гонят конные к имению кучу народу. Я - костыль в руки и туда.

Во дворе наши тополевские мужики сбились в кучу, не хуже как вот эти овцы. Кругом казаки... Подошел, спрашиваю:

- А скажите, братцы, где мои внуки?

Слышу, из середки откликаются обое. Потолковали мы промеж себя трошки; вижу, выходит на крыльцо пан. Увидал меня и шумит:

- Это ты, дед Захар?

- Так точно, ваше благуродие!

- Зачем пришел?

Подхожу к крыльцу, стал на колени.

- Внуков пришел из беды выручать. Поимей милость, пан! Папаше вашему, дай бог царство небесное, век служил, вспомни, пан, мое усердие, пожалей старость!..

Он и говорит:

- Вот что, дед Захар, я оченно уважаю твои заслуги перед моим папашей, но внуков твоих вызволить не могу. Они коренные смутьяны. Смирись, дед, духом.

Я ножки его обнял, ползу по крыльцу.

- Смилуйся, пан! Родимушка мой, вспомни, как дед Захар тебе услужал, не губи, у Семки мово ить дите грудное!

Закурил он пахучую папироску, дым кверху пущает и говорит:

- Поди скажи им, мерзавцам, пущай придут ко мне в комнаты; ежели выпросят прощение - так и быть, ради папашиной памяти, вкачу им розог и запишу в свой отряд. Может, они усердием и покроют свою страмную вину.

Я рысью во двор, рассказал внукам, тяну их за рукава:

- Идите, дурные, с земли не вставайте, покеда не простит!

Семен хоть бы голову поднял. Сидит на припечках и былкой землю ковыряет. Аникушка глядел-глядел на меня да как брякнет:

- Поди,- говорит,- к своему пану и скажи ему: мол, дед Захар на коленях всю жисть полозил, и сыя его полозил, а внуки уже не хочут. Так и передай!

- Не пойдешь, сучий сын?

- Не пойду!

- Тебе, поганцу, жить-помирать - один алтын, а Семку куда тянешь? На кого бабу с дитем кинет?

Вижу, у Семена затряслись руки, копает землю былкой, ищет там неположенного, сам молчит. Молчит, как бык.

- Иди, дедушка, не квели нас,- просит Аникей.

- Не пойду, гад твоей морде! Анисья Семкина руки на себя наложит в случае чего!..

У Семена былка-то в руках хрусть - и сломилась.

Жду. Обратно молчат.

- Семушка, опомнись, кормилец мой. Иди к пану.

- Опомнились! Не пойдем! Иди полозь ты! - лютует Аникушка.

Я и говорю:

- Попрекаешь тем, что перед паном на коленках стоял? Что ж, я человек старый, вместо материной титьки панский кнут сосал... Не погребую и перед родными внуками на колени стать.

Стал на колени, земно кланяюсь, прошу. Мужики отвернулись, быдто и не видят.

- Уйди, дед... Уйди, убью! - орет Аникушка, а у самого пена на губах и глаза дикие, как у заарканенного волка.

Повернулся я и опять к пану. Ножки его прижал к грудям - не отпихнет, руки закаменели, и уж слова не выговорю. Спрашивает:

- Где же внуки?

- Боятся, пан...

- А, боятся...- И больше ничего не сказал. Сапожком своим ударил меня прямо в рот и пошел на крыльцо.

Дед Захар задышал порывисто и часто; на минутку лицо его сморщилось и побелело; страшным усилием вадушив короткое, старческое рыданье, он вытер ладонью сухие губы, отвернулся. В стороне за музгой коршун, косо распластав крылья, ударился в траву и приподнял над землей белогрудого стрепета. Перья упали снежными лохмотьями, блеск их на траве был нестерпимо резок и колюч. Дед Захар высморкался и, вытерев пальцы о подол вязаной рубахи, снова заговорил:

- Вышел я следом на крыльцо, глядь - Аниська Семенова с дитем бежит. Не хуже, как этот коршун, вдарилась она об мужа и пристыла у него на рувах...

Подозвал пан вахмистра, указывает на Семена с Аникушкой. Вахмистр, с ним шесть казаков, взяли их и повели в панскую леваду. Я следом иду, а Аниська дитя кинуда посередь двора и за паном волокется. Семен попереди всех шибко-шибко идет, дошел до конюшни и сел.

- Ты чего это? - спрашивает пан.

- Сапог ногу жмет, мочи нет.- И улыбается.

Снял сапоги, подает мне:

- Носи, дедушка, на доброе здоровье. На них подошвы двойные, добрые.

Забрал я эти сапоги, опять идем. Поравнялись с огорожей, поставили их к плетню, казаки ружья заряжают, нал стоит около, ноготки на пальцах махонькими ножничками обрезает, и ручка ихняя очень белая. Говорю я ему:

- Дозвольте, пан, посымать им одежу. Одежа на них добрая, нам по бедности сгодится, сносим.

- Пущай сымают.

Снял Аникушка шаровары, вывернул наизнанку и повесил на колышек плетня. Из кармана вынул кисет, закурил, стоит, ногу отставил и дым колечками пущает, а плюет через плетень... Семен растелешился догола, исподники холщовые - и то снял, а шапку-то позабыл снять,- знать, заметило... Меня то морозом дерет, то в жар кинет. Лапну себя за голову, а пот зачем-то холодный, как родниковая вода... Гляну - стоят рядушком... У Семена грудь вся дремучим волосом поросла, голый, а на голове шапка... Анисья, по бабьему положению, глянула, что стоит муж такой нагий и в шапке, как кинется к нему, обвилась, ровно хмель вокруг дуба. Семен от себя ее отпихивает.

- Уйди, шалава!.. Опомнись, на людях-то!.. Повылазило тебе, не видишь, что я очень голый... совестно...

Она же раскосматилась, ревет в одну душу:

- Стреляйте обех нас!..

Пан ножнички свои положил в кармашек, спрашивает:

- Стрелять?

- Стреляй, проклятый!..

Это на пана-то!

- Привяжите ее к мужу! - приказывает.

Анисья опамятовалась да назад, ан не тут-то было. Казаки смеются, вяжут ее к Семену недоуздком... Упала, глупая, наземь и мужа свалила... Пан подошел, скрозь зубы спрашивает:

- Может, ради дитя, какое осталось, попросишь прощенья?

- Попрошу,- стонает Семен.

- Ну, попроси, только у бога... опоздал у меня просить!..

На земле лежачих их и побили... Аникушка после выстрелов закачался на ногах, но упал не сразу. Спервоначалу на колени, а потом резко обернулся и лег вверх лицом. Пан подошел, спрашивает очень ласково:

- Хочешь жить? Коли хочешь - проси прощенья. Так и быть, полсотни розог - и на фронт.

Набрал Аникушка слюней полон рот, а доплюнуть силов не хватило, по бороде потекли... Побелел весь от злости, только куда уж... три пули его продырявили...

- Перетяните его на дорогу! - приказывает пан.

Поволокли его казаки и кинули через плетень, поперек дороги. Тем часом в станицу из Тополевки ехала сотня казаков, при них две пушки. Пан на плетень, как кочет, вскочил, звонко кричит:

- Ездовый, ры-сью, не объезжать!..

На мне волосы встали дыбом. Держу в руках Семенову одежу и сапоги, а ноги не держат, гнутся... Лошади, они имеют божью искру, ни одна на Аникушку не ступнула, сигают через... Припал я к плетню, глаза не могу закрыть, во рту спеклось... Колеса пушки попали на ноги Аникею... Захрустели они, как ржаной сухарь на зубах, измялись в тоненькие трощинки... Думал, помрет Аникей от смертной боли, а он хоть бы крикнул, хоть бы стон уронил... Лежит, голову плотно прижал, землю с дороги пригоршнями в рот пихает... Землю жует и смотрит на пана, глазом не сморгнет, а глаза ясные, светлые, как небушко...

Тридцать два человека в тот день расстрелял пан Томилин. Один Аникей живой остался через гордость свою...

Дед Захар пил из баклаги долго и жадно. Утирая выцветшие губы, нехотя докончил:

- Выльем поросло это. Остались одни окопы, в каких наши мужики землю себе завоевывали. Растет в них мурава да краснобыл степной... Аникею ноги отняли, ходит он теперя на руках, туловищу по земле тягает. С виду - веселый, с Семеновым парнишкой кажин день возле притолоки меряются. Парнишка-то перерастает его... Зимой, бывало, вылезет на проулок, люди скотину к речке гонят поить, а он подымет руки и сидит на дороге... Быки со страху на лед побегут, на сколизи чуть не раздираются, а он смеется... Один раз лишь заприметил я... Весной трактор нашей коммуны землю пахал за казачьей гранью, а он увязался, поехал туда. Я овец пас неподалеку. Гляжу, полозит мой Аникей по пахоте. Думаю, что он будет делать? И вижу: оглянулся Аникей кругом, видит, людей вблизи нету, так он припал к земле лицом, глыбу, лемешами отвернутую, обнял, к себе жмет, руками гладит, целует... Двадцать пятый год ему, а землю сроду не придется пахать... Вот он и тоскует...

В дымчато-синих сумерках дремала лазоревая степь, на круговинах отцветающего чабреца последнюю за день взятку брали пчелы. Ковыль, белобрысый и напыщенный, надменно качал султанистыми метелками. Овечья отара двигалась под гору к Тополевке. Дед Захар, опираясь на чакушу, шел молча. По дороге, на заботливо расшитом полотнище пыли, виднелись следы: один волчий, шаг в шаг, редкий и разлапистый, другой - косыми полосами кромсавший дорогу - след тополевского трактора.

Там, где летник вливается в заросший подорожником позабытый Гетманский шлях, следы расстались. Волчий свернул в сторону, в яры, залохматевшие зеленой непролазью бурьяна и терновника, а на дороге остался один след, пахнувший керосиновой гарью, размеренный и грузный. [1] Ч а к у ш а - пастуший костыль. 1926